

193.
711
П35

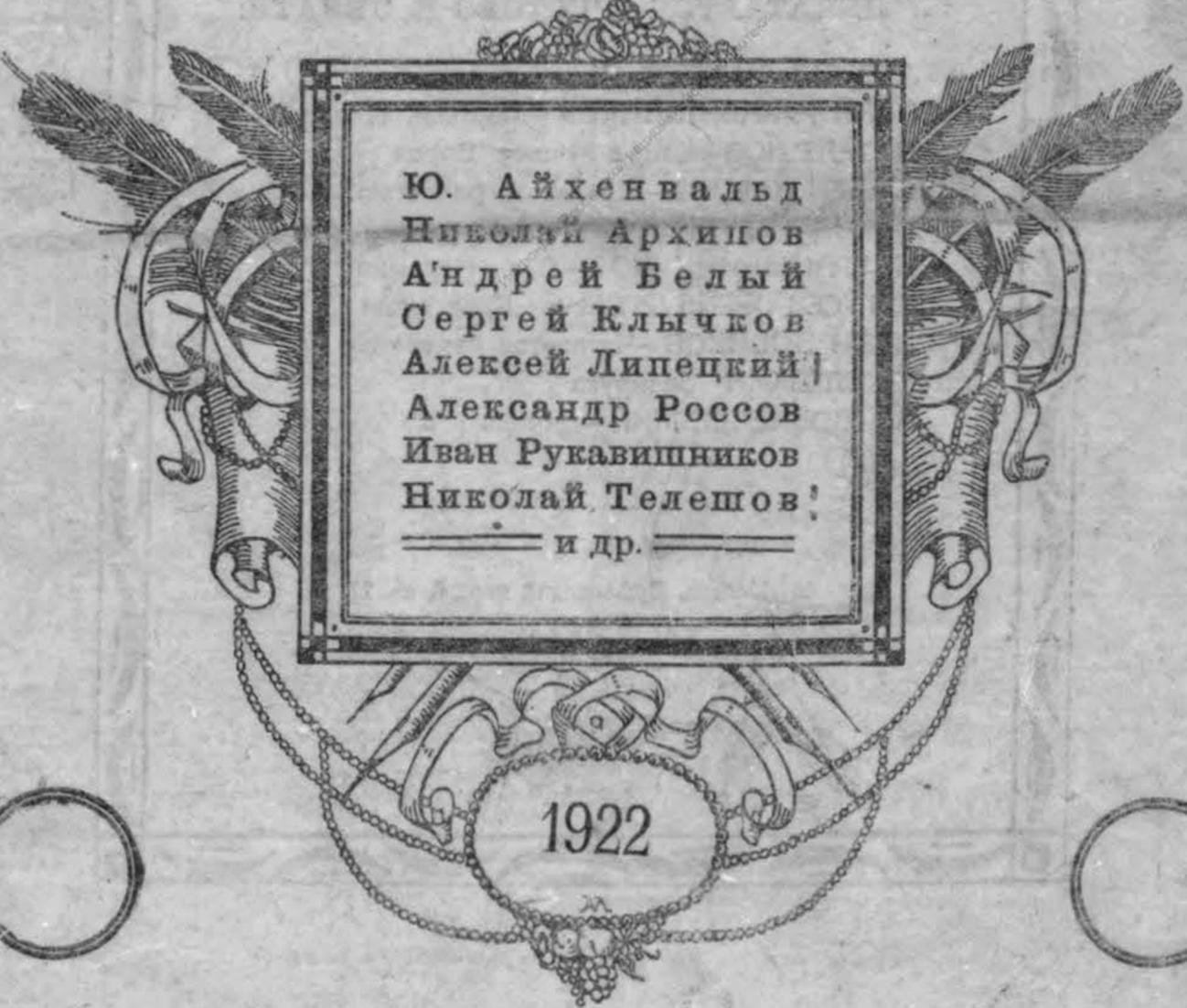
134

П35
134

НОВАЯ ЖИЗНЬ

216
26/E

АЛЬМАНАХ ПЕРВЫЙ



Ю. Айхенвальд
Николай Архинов
Андрей Белый
Сергей Клычков
Алексей Липецкий
Александр Россов
Иван Рукавишников
Николай Телешов
и др.

1922

ПАМЯТИ ДОСТОЕВСКОГО

Человек с воспаленной душой и горячечным мозгом, вот уже сто лет как родился он—там, в больнице, в обители своего любимого страдания, чашу которого он пил, чашей которого поил всю свою жизнь. И, несмотря на эти протекшие десять десятилетий, он является современником нашего времени—именно потому, что он же был его предтечей и предсказателем. Революция—ему к лицу, как он—к лицу революции. Ибо понимал Достоевский, что она идет изнутри: для него революция—категория психологическая, обязательная стихия сердца, и смута заложена в нас от века. Он—живой, одушевленный эпиграф к теперешней трагической летописи, которая пишется кровью; мы ныне как-бы перечитываем, действительно и страдальчески перечитываем его знаменитый роман, претворившийся в действительность; мы видим сон, случившийся на-яву, и удивляемся догадливости гениального сновидца. Колдун Достоевский наворожил России революцию. И в его стиле движется наша действительность.

Все знают, как пришел Достоевский в русскую литературу. Никогда не забудет она той белой майской ночи 1845 года, когда Некрасов и Григорович в восторге от только-что прочитанной рукописи „Бедных людей“ прибежали к бедному юноше; в эту белую петербургскую ночь возшла звезда Достоевского—звезда, жутко-блестя-

щая, светило прекрасных и зловещих предзнаменований. С тех пор не только не померкла она на русском горизонте, но и зовет к себе все более и более пристальные и тревожные взоры; значительная часть нашей интеллигенции гадает по Достоевскому. Но и сам темной загадкой стоит он перед нею, этот половец страшных человеческих глубин, искатель черных жемчужин, рудокоп души; не мы, а он чувствует себя хорошо в человеческой мгле,—он зорко разбирается там, как сова в лесу, ночная птица мудрости.

От страниц Достоевского не тлет дыхание полудня, ароматом простой и непосредственной, бездумной и наивной жизни. Если в его ранних опытах еще можно уловить целительное веяние природы и в „Маленьком герое“, например, стелется зеленое лето, благоухают полевые цветы, летают золотые пчелы, то чем глубже он становится самим собой, тем безнадежнее, как от ядов Анчара, блекнет вокруг него всякая зелень, и острая мысль, нервная и неутомимая, заслоняет в его глазах все внешние декорации мира, всю красоту божьего пейзажа. Достоевский—тот Адам, который уже невозвратно изгнан из первоначального Эдема, из покойного естества, который уже на-веки отравил себя запретным плодом сознания. Поэтому нет у него природы. Он понял бы, но не почувствовал бы, что значат слова Тол-

стого: „жениться на природе“; он не ощущает тоски по этой мистической жене. В противоположность Толстому сыну „великих матерей“, принципиально не выделяющему человека из остальной семьи космоса, Достоевский не опускается в недра всеобщего бытия. Он далек от пантеизма и от вольного язычества; его ненасытная душа алчет одного только человеческого элемента, одной только специфичности нашей, его интересует только homo sapiens или homo insipiens, что, впрочем означает для него одно и то же. Природа—ребенок, человек—взрослый. Как не любоваться на ребенка, как не любить его? Но уменьшить себя до его размеров, но снизить к нему и его элементарности навсегда—разве это возможно и желанно? Больше чем кто-либо поднялся над дитятей-природой творец Ивана Карамазова—нерадостное преимущество и горькая победа! Сомнения взрослого, слишком взрослого разума, ума, переходящего в безумие, тревоги мирозерцания, перепроизводство души: вот что разлучило нашего писателя с природой, вот за что он отлучил ее от себя—или она отлучила его от себя?

Но, помимо этого, у Достоевского есть с природой еще особые счеты. Он не может простить ей того, что она сделала на вершине Голгофы. Природа виновата перед Христом. При взгляде на картину Гольбейна „Снятие со креста“ Достоевский предается мучительному размышлению о том, что естество даже на этот раз не захотело отказаться от железной поступи своих законов, что оно и в данном случае осуществило смерть—хотя-бы и временную (в светлом чуде воскресения природа капитулировала перед духом, и смерть была поправа). „Природа—огромный и отвратительный тарантул, огромный, неумолимый и немой зверь, или громадная машина, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо, такое Существо, которое одно стояло всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то может, быть, единственно для одного только этого Существа“. Вот характерное для Достоевского осуждение природы, ее тупости, вот его пренебрежение к физике во имя метафизики. Так уходит он от всякой нормы, олицетворенное исключение, и над царством обычной необходимости, мировых законов хочет воздвигнуть какие-то особые селения, где человек был-бы показан в своих отличиях от прочей вселенной, в своей исключительной духовной и религиозной требовательности, в своем „касании мирам иным“.

При этом, однако, собственная религиозность Достоевского вовсе не спокойна и устойчива: верующий, он знает все соблазны безверия, все „наглые пробы“ кошунства, и это он сам вместе с Версиловым разбивает образ, и слишком веришь ему, когда он утверждает: „да их глухой природе и не снилось такой силы отрицания, которую перешел я. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик-же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня-же чорт“. Благополучно ли прошла у него осанна через горнило сомнений? Одолеет ли он в себе чорта? И не мешает-ли его Христу его Антихрист?

Но если сомнительно христианство Достоевского, как незыблемое и благостное утверждение, то несомненно зато его беспримерная углубленность в человеческую душу. Из его романов следует даже, что человек—слишком душа. Наш автор-психолог злоупотребляет психикой,

Он не считается с тем, что в сущности людям души отпущено в меру. Вопреки действительности, его герои переполнены душевным, и оно бьет у них через край. Они страдают гипертрофией души. В силу этой гиперболизации писателю открываются огромные, бездонные внутренние миры—там, где иному видится лишь бесцветная плоскость. Достоевский одержим глубиной. Он знает только третье измерение. К тому же, душевную жизнь он любит брать в ее максимуме—художник-максималист. Кипение духа доводит он до предельного градуса. И не только кажется, что сам он пишет свои произведения, объятый жаром и бредом, при температуре очень высокой—оставаясь, однако, как это ни странно и противоречиво, себе на уме, на безумном уме,—но в таком же ускоренном и лихорадочном темпе живут и его персонажи: они слишком живут. Мы, читатели, против этого готовы протестовать: ведь мы знаем, что обычно струны на нашем душевном инструменте натянута совсем не туго, что лишь в исключительные моменты наши психические состояния напряжены и обострены, а все остальное время они бледны, срединны, вялы,—почему-же, почему Достоевский эти струны, эти нервы натягивает именно туго, до последнего предела, до крайней возможности, так что еще мгновение, и лопнут они, и разобьется, не выдержит хрупкое сердце человека? Такой избыток психизма объясняется тем, что создатель „Бесов“ себя изображает, о себе говорит,—а у него душевная книга в самом деле чрезмерно содержательна и нужны ему все эти бесчисленные действующие лица, все эти страдающие лица нужны как живые иероглифы, как причудливые начертания, которыми можно было бы написать для человечества свою авторскую исповедь, дантовскую картину своей интимной личности, развернуть ее сложную, запутанную, испещренную хартию. Его психологический анализ иногда морально утомляет, становится праздным, начинает докучать себе; и этой бесплодной и безразличной затейливостью своих арабесок он возмущал-бы, если-бы в нем не сказывались искренние и большие откровения самого автора с его перегруженной и загроможденной душой. Это она рембрандтовским светом, или рембрандтовской темнотой светит сквозь всю запутанность интриги в его романах, сквозь всю эту чехарду и чепуху событий, сквозь толчею и сутолоку идей и чувств, образующих какой-то шабаш ведьм. По его собственному выражению, из анекдота он делает пирамиду. Писатель въедчивый, художник-хищник, тигр слова, он страстно вливается в жизнь, придирается к ней, каждую мелочь ставит ей в счет; он как будто нащупывает самый пульс жизни, полемизирует с ней, как с противником, и точно состязается с нею в неожиданности выходов и выдумок. *Ars longa vita brevis*,—дела много, жизни мало. Как выражается один из его героев, жизнь коротка для того, чтобы „не наскучить“, ибо она—„тоже художественное произведение самого Творца, в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения; краткость есть первое условие художественности“. Но в таком случае надо было бы признать нехудожественными сочинения самого Достоевского, потому что ведь не кратки они. Не братки, зато нет в них ничего лишнего; чувствуется только что короткое „пушкинское стихотворение“ жизни, этот классический сосуд, наш романист хочет заполнить все можно большим и возможно разнообразнейшим содержанием, т. е. преодолеть несоответствие между *ars* и *vita*, между изобилием жизненного дела и кратковременностью самой жизни. И вот, на его! страницах—такое

изобилие и такое разнообразие. „Сам Толстой—писал ему Страхов—сравнительно с вами однообразен“. Но не потому-ли это, что космос вообще однообразнее хаоса? И часто разнообразное бывает безобразно. Этого, конечно, нельзя сказать про Достоевского, потому что, вопреки его самоощущению, у него есть чувство меры и рано или поздно сведет он все-таки главные концы с концами, найдет выходы из лабиринта; но когда думаешь о мере у Достоевского, то не следует упускать из виду, что таблица мер у него—своя, необычная. На какой-то специальной плоскости надо рассматривать его, за пределами нормальных очертаний, и от принятых критериев реализма здесь необходимо отказаться. Ведь есть особенная реальность у сновидений, и нельзя от них требовать логики, и нельзя сетовать на сумбуризм их подвижных узоров. А Достоевский рассказывает нам сновидения своей души, и потому несбыточна для него внешняя правдоподобность и соразмерность. Да правдоподобности нет и у самой, так называемой, реальной жизни, ибо „что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности, что может быть даже невероятнее иногда действительности?“. У Достоевского—именно такая фантастика, более подлинная, чем явь. Он грезит, бредит, но и в бреде мудрой Пифии есть свой вещий смысл. Впрочем, лучше сказать, что автор „Преступления и наказания“ видит сны наяву, так как сущность его душевной жизни—сплошная бессонница. Если представить себе человека, который никогда своему сознанию не дает ни забвения, ни отдыха, ни срока, который бодрствует и днем и ночью, беспрестанно думает, неуслынно терзает себя сверлящей и заостренной мыслью, одновременно Прометей и коршун Прометея, то это вечно воспламененное существо будет очень походить на Достоевского. Бессонница, это—бессмертие, потому что сон, это—смерть; бессонница—та форма бессмертия, в которой оно является смертным и в которой доказывает свою мучительность, свою психологическую невозможность и нежеланность. Бессмертный смертный, бессонный сновидец, Достоевский только и делает, что живет—без перерывов и остановки, без спокойной ночи, без промежутков сладостного небытия. И оттого мир был для него гораздо больше, полнее и содержательнее, чем для нас, периодически отсутствующих из мира и вообще нечутких к нему. Мир валился на него, подавлял его грудой своих событий и происшествий, посылал ему в вестернином изобилии свои волны и вибрации, раздражал и мучил его обнаженные нервы. И Достоевский страдал от непомерности того содержания, которое, в силу своей организации, был он обречен носить в себе, как Атлас, принужденный держать на своих плечах всю ношу неба. Все замечая, все ощущая, маятником своей изощренной восприимчивости отсчитывая каждую секунду психического времяпрепровождения, ничего не пропуская и ни одной минуты не теряя даром, он каждый день переживал как целую жизнь. У его героев, т. е. у воплощений его собственной личности, у них и у него—столько жизней, сколько дней. День—пробораз жизни. День пережить—не поле перейти.

Такая напряженность существования не может протекать безнаказанно. Нельзя, чтобы душа состояла сплошь из событий,—и душа заболевает. Недуги ее наполняют и напитывают почти целиком творчество великого каторжника. Но сам он не признавал своей человеческой галереи какою-то клинкой, не считал своих героев натурами патологическими: он не проводил резкой границы между нормой и аномалией и думал, что никто не смеет

зарезаться от сумашествия—растет повсюду и для всякого эта беда. Участники мирового кошмара, узники мирового Бедлама, мы все—обреченные, одержимые. Где ум, там и безумие,—по крайней мере, потенциальное. Стоит несколько ярче разгореться той обычным искрам, которые тлеют под пеплом любого сердца,—и вот уже взлетает над бедным разумом нашим красный петух помешательства. И потому у Достоевского—постоянное бурление больших страстей, и пройти сквозь строй его страниц—это значит причинить своей душе кровавые рубцы. „Жестокий талант“ писателя об этом не беспокоится: не только не примет он во внимание нашей читательской деликатности и нервности, но и обрушится на них бичами и скорпионами своего инквизиторского дарования. В другом месте нам случилось уже однажды назвать его Иваном Грозным русской литературы. И право на этот мрачный титул он, кажется, имеет особенно потому, что, как и грозный царь, был он одновременно и мучитель, и мученик. Истязал он не только других, но и себя,—и притом себя в первую очередь. Где-то в складах души заключал он в себе того Николая Ставрогина, которого спрашивал Шатов: „правда-ли, что маркиз де-Сад мог-бы у вас поучиться?“. Но и противоположное садизму, жажда не чужой, а собственной боли, сладострастие мученичества,—это тоже было свойственно его изборужденной противоречиями натуре. Царству боли разнообразно причастный, художник страдания, в „Записках из подполья“ говорящий даже о наслаждении зубной боли, исполненный какого-то изуверства, не кроткою молитвой Гефсиманского сада молящийся Отцу, а, напротив, взывающий горькой чашей, Лаокоон сам идущий навстречу своим змеям,—Достоевский страшен, и бывают минуты, когда его не только боишься,—когда его хочется ненавидеть, когда точно бесом среди своих бесов выстукает он из ада своего, изобразитель карамазовского чорта, сам принимающий облик писателя-дьявола.

Не то, чтобы не хотел Достоевский душевной примиренности и гармонии, религиозной тишины и ласки,—об этом говорят достаточно и его молитвенные порывы, и лучезарные образы Алеши, Зосимы, Макара Ивановича, и дети у него, и мужик Марей, и культ светлого Пушкина; но только была так дисгармонична и трагична его организация, что завершить и успокоить ее, озарить ее солнцем, разрешить ее противоречия высшим синтезом он был не в силах. „Я... я буду верить в Бога“,—говорит у него Шатов. На будущее своей души надеялся и Достоевский. А пока он эту душу только творил, зарабатывал себе, в поте лица своего трудился для своего ожидаемого, но до конца не обретенного просветления. Благодной уверенности он все-таки не добился. Мира все-таки не принял Иван Карамазов и создатель Карамазова. Но, отвергая произведение, тем самым отвергаешь и автора. И вселенная неотвратимо рисовалась Достоевскому, как зияние, как „дьяволов водевил“, и были раскрыты его глаза на беззаконность и антиномичность, на роковую неустроенность внутреннего человека. В себе и в других он видел эти провалы безумия и преступления, совмещение, как он выражался, идеала Мадонны с идеалом Содомы, вакханалию диких инстинктов, соблазны самоубийства и даже убийства („все любит, что он отца убил“—говорит Лиза про Дмитрия Карамазова), распаленное „наушь“ сладострастие, и, может быть, только потому для него не погибал, не заваливался мир, что держится последний благодаря равносильности преступления и наказания. Всякий виноват во

всем; мы — соучастники всех преступлений, оттого что есть круговая порука общей виноватости, грандиозная кооперация человеческого греха. Первородную вину человека, его прирожденную преступность, т. е. способность своеволия, Достоевский чувствовал, как никто. Но он же понимал, что на другой чаше мировых весов симметрически лежит противовес к преступлению — наказание. Мы несчастны, русский народ недаром преступников называет несчастными, свое страдание мы заслужили — значит, справедливость соблюдена.

Достоевский себя не преодолел, но другим он оставил

завет: преодолеть в себе Достоевского. Ибо не случайность он, не просто эпизод психологический, одна из возможных встреч на дороге, или на бездорожье русской жизни, не бредовое приключение ночной души: нет, он — трагическая категория духа, которой миновать нельзя и которая в большей или меньшей степени обязательна для каждого. Через Достоевского, но к Пушкину, к Толстому — такова магистраль духовного пути, который проложила русская литература для русского читателя.

Ю. Айхенвальд